

ЮРИ БАЛАБАНОВ

СЛУЧАЙ

Автобус трясся, будто притяженье
земное возросло на три с полтиной.
И мысли задевали друг за друга,
словно стальные части механизма,
готового вот-вот остановиться,
не выдержавши перенапряженья.

И он сидел там, в глубине вагона,
возле стекла промерзшего, пытаясь
понять – откуда это беспокойство,
и из чего оно проистекает.
Быть может, это нервное, быть может,
он недоспал на тряской верхней полке...
Потом еще: откуда эти люди? –
такие сытые, чужие лица!

Вот так бывает, если попадаешь
из сна глубокого, казавшегося явью,
в действительную явь и понимаешь,
что прежде спал, и что теперь проснулся.
Ты дома, а вокруг друзья. Уж вечер.
И говорят о том, о сем, и кофе
приносит брат на золотом подносе и взлетает
под потолок и кружится у люстры.
И тут тебе становится понятно,
что сон твой длится. Силишься проснуться.
И вот приходит новая реальность,
но, сбитый с толку, ты в нее не веришь.

Автобус подлетает на ухабах.
Еще минута – и покинет землю.

...А в глубине салона было душно,
а за окном зима – кругом сугробы.
– Что, Саша, сколько сделали концертов?
– Очнись, уже ты едешь на четвертый!
«Но как же так... Я ничего не помню», –
сказал он про себя и догадался,
что, верно, спит. «Но кто все эти люди?!!»

Во сне ведь тоже нужно разбираться
в происходящем... Он окинул взглядом
сидящих рядом. Было очень тихо.
Никто не говорил и не смеялся.
Мотор автобуса ревел надсадно,
а люди, очевидно, тоже спали —
все спали, как и он. Не спал лишь Саша,
Которого спросил он про концерты.

Подчас, когда мы спим, остаток воли
способен поворачивать события,
как мы того во сне своем желаем.
Он к Саше наклонился: — Слушай, Саша,
уж если ты мне снишься, то будь другом,
пока все спят, давай с тобой летаем
в Москву. И пусть там будет лето!

Он замер в ожидании ответа.
Ответ решил бы все его сомненья.
Автобус трясся. На минуту Саша
задумался, потом к шоферу руку
он протянул, и попросил у знака
"Опасный поворот" остановиться.

...Очнулся он, когда его вносили
как будто, в комнату, и долго терли снегом
ему ладони, щеки... Слышен голос
был отдаленный: «Боже, бедный мальчик!
Тому, второму, видимо, получше,
а этот, посмотри, как отморозил
себе лицо... Потри ему сильнее
вот здесь... Не надо спиртом, только снегом.
Иначе кожа на лице сгорит... Всё, хватит.
Он, вроде бы, глаза открыл. Ну, мальчик,
тебе получше? Не горюй, приятель.
Считай еще, вам повезло обоим.
...И как они там только оказались?!!»

— Ума не приложу, как это вышло.
У нас в поездках это первый случай.
А что Петров? — он человек солидный.
Как бригадир, его я уважаю.
Как женщине он мне неинтересен.
Я, всё-таки, актриса, я... простите?
Нет, что вы, он весь день ходил спокойным.

Ах, вы про это! Нет, у нас в бригаде
не принято кирять перед концертом.
Лишь только вечером, когда наш день окончен
рабочий, собираемся мы вместе.
Тамара в номер к нам приносит карты.
Она так ловко на судьбу гадает!
(Вы знаете, она – экстрасенсичка!)
Вчера такое рассказала Любе
про прошлое её при всём народе,
что та чуть-чуть не умерла в постели.
Ну, кто же мог подумать, эта Люба...
...Нет, нет, простите, к делу не имеет.
А что касается его, то он впервые
поехал с нами. Знаете, я сразу
себе сказала: «О, там тараканы!»
Да нет, не в номере! Такое выражение.
Так говорят о психах, ненормальных...
...Нет, не буянил... Что он? Напивался?!!
Помилуйте, он в рот не брал спиртного.
Скажите мне, ну разве он нормальный?
Ни с кем не пил, и даже не общался!
Петров – другое дело. Он в поездки
всегда с собой берет. С ним интересно
и поболтать, и скоротать... Ну что вы!
Поймите только правильно — актриса
не может позволять себе дурного!
Петров приятен, но... ах, да, простите...
По существу?.. Ну что же. Этой ночью
я ничего такого не слыхала.
Всё было тихо, только в ресторане
до поздней ночи были музыканты.
Ах, эти местечковые ансамбли!
У них ни вкуса нет, ни чувства меры.
Вот мы, в Москве... Ах, да, конечно сразу.
Я сразу обнаружила: их нету...
...Да что вы! Будто бы сквозь землю!
Мы там остановились у развилки,
ну, по делам, по этим, по текущим...
Так вот, я говорю – они пропали...
...Нет, честно говоря, не выходила.
Вернее... Ну, конечно! Я умею
Терпеть. К тому же пью я очень мало.
Я утром чай себе разогреваю,
затем... Нет, не заметила. Простите?
Я говорила "обнаружила"?.. Да, позже,
когда уж мы отъехали немного...
...Ну, километров восемь, может, десять...
Сорок четыре?!! Что вы говорите!
Ну, знаете, в поездке время быстро

летит, к тому же нам Тамара
рассказывала про систему йоги.
Подумайте! Она воображает,
что... В общем, нет, но это интересно.
Как жаль! Другого раза уж не будет,
а то б я рассказала про Тамару!..

– Спасибо, нет, я постою, не надо.
Ну, хорошо, быть может, вы и правы.
Я, видите ли... Что меня смущает?
Да нет, всё хорошо, мне просто трудно
сказать что либо. Саша – мой приятель,
вернее, друг. Мы дружим очень долго,
уже три года... Нет, в другом ансамбле.
Там я играл на клавишных, а Саша,
он мне недавно предложил... Какую?
Я выступал ну, в роли пианиста...
...О, да, конечно, Саша тоже... Впрочем,
в ансамбле есть рояль и синтезатор.
У нас их даже два, так вот, мы с Сашей...
...Нет, не рояля! Мы рояль не возим
с собой, у нас есть "Роланд" и "Вермона"...
...Что нам дает? – ну, как сказать... богатство
оттенков музыкальных, тембров, красок...
...Нет, не случилось, ничего не знаю.
В ансамбль он пришел, когда на базе
мы репетировали Светину программу.
Он нам сказал, что с нами он в поездку
поедет. И еще, что Света
об этом знает. Что его ансамбль
все нормы перевыполнил, а он же
на конкурс должен был поехать в Сочи.
Потом всё сорвалось, и он остался
без денег в том и в нынешнем квартале.
Тогда ему поехать предложили
в Саратов с нами. Он и согласился.
...Что? Станным?.. Нет, мне не казался.
Он, в общем, парень очень симпатичный,
ребята же его не принимали
всерьез. Ну, знаете, мы, музыканты,
привыкли ко всему: нас очень трудно
заставить удивляться. И, к тому же,
когда он пел, ведь, мы ему играли,
а это же работа — тут не важно,
как это смотрится из зала — только ноты
перед тобой стоят и инструменты.
...Ну да, конечно, я сидел с ним рядом.

Мы с Сашей в глубине всегда садимся,
где колесо. Ведь женщины не любят
излишней тряски. Надо же кому-то...
...А Юра? Он сидел в тот день за нами.
Потом, я помню, мы остановились,
минуты три перекурили возле
автобуса: курить в салоне
Светлана нам ну... ну, не разрешает.
А что поделаешь! Она – певица!
...Когда я сел? А я там не садился.
...Что? Место сзади? Мне... мне не хотелось
сидеть, ну, в общем... в общем, рядом с ними.
...Когда поехали?... Конечно, помню.
Я точно знаю, что они не выходили.
...Что это странно? – да, да, понимаю.
Я сам четвертый день кошмары вижу.

– Ну, тут, начальник, дело очень просто.
Он псих, и это всем уже понятно.
Я думаю, что он, когда стояли,
в окно с Сашурой дёрнул. Вот и точка.
Что до Светланы, ты пойми, что бабы,
они, как ни учи их, будут дуры.
А эта – пропуск – стала бригадиром,
чтоб получать паршивую пятерку
с концерта. Вот она, раскладка.
Всё ясно, так что, – пропуск – будь спокоен!

Автобус старый даже не качнулся,
когда в сугроб он спрыгнул со ступеньки.
Нога, в сугроб ступив, не провалилась
и на снегу не оставляла следа.
И Саша спрыгнул тоже. Было странно
не ощущать свой вес и притяженье.
Мы так привыкли к вечному давлению
в природе, в обществе, – как огурцы под гнетом...
Они парили, будто притяженье
земное вдруг уменьшилось в три раза.
Да что там в три – достаточно рукою
от воздуха с усилием оттолкнуться,
как тело поднималось на три метра.
Но до смерти обидно, что приходит
такое состояние лишь ночью,
когда стремимся мы свои желанья
несбыточные воплотить, окинув

события взором внутренним. И Саша,
впервые за пять лет своих последних,
подумал: «Боже, я во сне летаю,
а, значит, продолжаю в тридцать восемь
расти – вот это просто чудо!»

И это было чудом, несомненно,
что в тридцать восемь он взлетел над миром.

Закат над лесом был багров и таял,
а лес вскипал бесформенной стихией.
Печальный снег и кромка черной пены.
Над ней – закат. Воистину печально.
Во сне мы часто проливаем слезы
без всякой видимой на то причины:
казалось, ничего не происходит,
а мы рыдаем – это наше сердце
сливается с тончайшим высшим миром,
который все сердца объединяет.

Как капля, попадающая в море,
отныне морем будет называться,
так наше сердце, погрузившись в Космос,
не будет больше Сердцем, но Пространством,
в котором смешана вся наша воля,
оторванная от людей и действий.
Она – как нечто общее, как призрак.
И потому во сне печаль исходит
от неконкретного, а временами даже
от символов, которым нет значенья.
Сознание – противник растворенья
в глубоком Космосе и, словно верный стражник,
оно за душами следит сурово,
чтоб те не покидали тел надолго.
А так как Бог и есть глубокий Космос,
в него нельзя войти умом и верой,
поскольку вера, как и ум, есть акт сознанья.
И получается, во сне мы ближе к Богу,
чем в самый светлый проблеск откровенья;
и потому же сон, что пересказан,
теряет вмиг божественную силу.

Итак, закат над лесом был багровый,
и он манил к себе, как возглас страсти.
Поземка снежная по черному асфальту

стелилась так отчаянно и нервно!
Вот провода – не прикасайся, Саша!
Они как сеть, опутали дорогу.
К тому же помни, что они реальны -
не дай-то бог, они тебя разбудят!
Автобус медленно в поземке исчезает.
Прощайся с теми, кто не спит и едет
на те концерты, будь они неладны.
Четвертый, говоришь? – да хоть десятый!
«Сумеет ли исчезнуть мы, – он думал, -
из этого обыденного мира?»
Он уходил всё дальше, всё смелее...
Он только знал, что поступает верно.

А Саша думал, поднимаясь в воздух:
«Здесь все мои желанья исполнимы!
Так, значит, **это** есть свобода Духа
и тела также – вот они – и руки,
и ноги, и лицо; я сплю и вижу,
как тело поднимается в пространстве,
не опираясь на реальные предметы!
Но, Боже, если я, земной, витаю
за облаками, где ж тогда уснул я?!!»

...И боль пронзила мозг. Он отвернулся
так медленно и плавно... Словно пальцы,
лёг провод электрический на шею,
петлю затянулся и растаял
в кровавых искрах; черный и холодный...
Его виска коснулся будто камень...
Затем он стал мягчать, и вскоре в вату
он превратился. В нос ударил запах
нашатыря... Но тело продолжало
лететь, зажатое в воздушном вихре.
«Я не хочу, – он закричал, – не надо!»
И крик его по проводам пронёсся.
И, в них запутавшись, он вдруг очнулся
и догадался: был несчастный случай...
Забилось сердце: что же происходит...
Он ехал на концерт, автобус трясся,
опасный поворот – там знак и цифры...
И слёзы потекли. Ему казалось,
что если он заснёт, то вновь проснется
в другой реальности, ведь, может быть, больница –
всего лишь сон, и не было аварий,
и проводов, нашатыря и ваты...
Глаза, вот-вот готовые зажечься,
померкли вновь, и веки опустились.
До слуха донеслось: «Смотрите, снова

он потерял сознание, несчастный...»

Глаза закрой и пронесись над гладью
событий, дней, безмолвно уходящих.
Там остров есть, в глубинах океана, —
того, который назван нашей жизнью.
И каждый раз, отпущенный землею,
я уношусь в бездонное пространство, —
туда, где средь пучин сознания, воли
чернеют то ли скалы, то ли пропасть
бездонная рокочет гулким эхом.
Там нет материи, и нет там стройной мысли.
Туда уходят вещи, растворяясь,
забыв название своё и назначенье.
...Однажды я увидел сон: средь леса
стояла церковь – ветхая, кривая.
Деревья вокруг нее клонились долу
и бились сучьями в ее худые стены.
Я эту церковь посетил уже под вечер.
Иконостас всё больше обгагрался
закатом пламенным. Не помню – я молился
иль просто так бродил среди мерцанья
свечей и ликов древних, что с укором
смотрели, уличая в лицедействе
то ли меня, то ли убранство церкви...
Как бы то ни было, лишь помню: я забылся
и к жизни возвращен был воем ветра
и скрежетом ветвей по стенам церкви.
Кругом я огляделся: было тёмно,
а за окном безумствовала буря.
Я бросил взгляд ко входу – там толпились
на фоне угасающего неба
людские тени. Прихожане кротко
ложились под церковной сенью
на нары, приколотенные к стенам.
И понял я, что надобно остаться
сегодня ночью средь икон и смрада
в пустынной церкви: это ли не ужас?!!
К дверям я поспешил, в душе надеясь,
что я успею выбраться на волю
и засветло добраться по тропинке,
плутавшей средь деревьев в тенистой чаще,
до берега, до моря, до простора.
...Но только вышел я в пустые сени,
закрылись двери, и в слепые стёкла
тот час же ветви начали стучаться.
Казалось, будто бы, ожив, деревья

сошлись сюда, оставив свои корни,
и если бы не двери и засовы,
они б прошли по земляному полу
и встали б пред иконами молиться,
согбенные в чудовищном поклоне.
Вам душу леденил нездешний холод
пустынного пристанища земного,
в котором, если ночью остаются,
то лишь усопшие на узком хладном ложе?..
...Все прихожане будто бы исчезли...
На нарах – полутени, полулюди.
То ль в одеяла свернуты, то ль в саван.
И я нашел в стене пустые нары –
вторые снизу, – и нырнул поспешно
туда, чтобы ногою не касаться
сырого пола с плесенью и мохом.
Не знаю точно, я уснул, иль умер,
но помню – ночью заскрипели двери
и по светящейся дорожке лунной
прокралось в церковь жуткое созданье,
укутанное в тряпки, будто в саван.
Оно проковыляло ото двери
и двигалось вдоль нар, всё приближаясь
ко мне, а я, весь в мелкой дрожи,
лежал и чувствовал, что вот, оно подходит
всё ближе, ближе; и не в силах больше
сносить чудовищное это приближенье,
я отвернулся к стенке и дыханье
остановил, забыв про вдох и выдох.
Мой слух померк. Я, видно, снова умер
или уснул: не знаю, я не помню.

Я помню лишь, как неся я над гладью
событий, дней, безмолвно уходящих.
Там остров был, в глубинах океана, –
того, который назван нашей жизнью.
Тот остров виделся во сне мне часто,
но всякий раз по-разному: то светел
его убор из зелени прохладной,
то вдруг подернут пеленою мрака;
то там рокочет водопад, то птицы
витают меж вершин с печальным криком...
Сегодня остров был – лесная чаща.
И я упал к подножью исполинов,
дерев могучих. Это странно было:
я никогда досель не появлялся
на этом острове. Я мог часами

летать во сне над девственной природой,
но лишь полет – нога не прикасалась
ни к золоту песка, ни к трав цветенью.
А тут – смотрите: вот лесная чаща,
и я, по еле видимой тропинке,
всё дальше углубляюсь в тьму и сырость!
Не помню, сколько брел я, только видел,
как там, вверху, над кронами густыми
тускнело, а потом померкло небо.
И ветер принялся играть листвою.
И началась гроза. Тугие ветви,
одежду превратив мою в лохмотья,
хлестали по щекам, а я стремился
всё глубже в лес. Зачем? – я сам не знаю.
Неясный, первобытный, жаркий трепет
меня манил. Я сам того не ведал,
куда я пробираюсь, что со мною;
зачем я здесь, и жив я или умер.
Лес кончился внезапно, словно голос,
что оборвался, не оставив эха.
И также, словно новый хриплый возглас,
возникло предо мною то строенье,
которое я где-то, вроде, видел.
Была то церковь — страшная, кривая,
казавшаяся в бурю колдовскою.
В крошечной мгле среди молний и стихии
гнилые брёвна будто бы светились.
Тяжелый сруб. Неверною рукою
цепляюсь за кольцо просевшей двери,
и дверь, открыв мне щель, вдруг проседает
ещё сильнее. Изнутри – ни звука.
...А был ли страх в тот миг? – о нет, едва ли.
Когда земное "я" вдруг угнетает
явление иль чуждое событие,
приходит страх. А здесь – помилуй боже,
здесь не было души, ни сна, ни церкви,
и было всё в одном едином миге,
сокрытом под звенящей тишиною
во мраке ослепленного сознания.

Есть пять окон и пять тончайших нитей
из света, что зовется Мирозданьем.
И тёмный склеп рассудка и сознания
едва-едва лучи те озаряют.
Склеп так велик; окошки, словно щели.
Здесь блеклы краски, зов едва лишь слышен.
А как постичь, живя в сыром подвале,

Вселенной бесконечность, вкус Пространства
и аромат вселенского цветенья?!!
Удел таков, что рано или поздно
темницу нашу в прах рассеет время.
И Светоч озарит... но что? – пустое!
Нет человека. Есть лишь Бог и Космос.
...Иные озаряют склеп пустынный
лампадой Духа. Вот она сияет,
отбрасывая сумрачные блики
на хладный камень нашего сознания...
Увы, свеча годна лишь в темном доме.
В ночи она мала, днём нет в ней толку.
Кому нужны мы со своей душою,
как не самим себе, во тьме заблудшим!

Войди в мой склеп, ты там увидишь церковь
и остров тот. И я во тьме блуждаю.
Вот отворяю дверь и вижу сени.
По стенам – нары. Продвигаюсь дальше.
Там люди спят, на нарах этих узких,
в два этажа струящихся по стенам.
Не спит один: я чувствую биенье
его души и трепетное сердце,
на несколько мгновений замирая,
вновь устремляется в шальную пляску.
На миг свет лунный блекло озаряет
те нары, что вторыми будут снизу...
Вот бы узнать, кто там, в той нише, прячет
лицо и ослепленное сознание!
Кто там?.. Я ближе к нарам наклоняюсь...
Рука дрожит. Рукой плеча касаясь,
я поворачиваю к свету тело.
Покойник! Белое лицо, будто из снега
отлеплен профиль. Но, о, боже!
Ведь это ж я — своё лицо я вижу!
Вот ужас моего открытия, но стойте,
а как же сердце, что во тьме стучало?..
Послушайте, оно стучит ещё сильнее
сейчас, когда я вглядываюсь в профиль
того, кто именем моим назвался
и носит образ мой... И вновь, о, боже!
Прислушайся! Стучит твоё лишь сердце!
Кругом же нет ни звука. Здесь, на нарах,
одни лежат покойники с телами,
что нынче тверже, холоднее камня.
Но кто они? – я в ужасе бросаюсь
к соседней нише, дергаю за саван,

и тело падает с глухим, нездешним звуком
на холодный пол. И в бледном лунном свете
в глаза глядит моё мне отраженье.
К другим бросаюсь нарам... звук удара...
срываю покрывало – что я вижу? –
– своё ж лицо, но бледное, худое,
с глазами, заведенными под веки.
Оно мне как бы говорит гримасой:
«Не стоит тебе дальше утруждаться,
бросая наземь мертвенные прахи.
Ведь те, что здесь лежат, не виноваты,
что умерли, и что с тобою схожи!
Они пришли сюда, на этот остров,
чтоб в церкви напоследок помолиться
и здесь остаться перед отпеваньем,
как надо: на ночь, до семи ударов,
когда сей остров озарится солнцем».
– Но солнца здесь не будет, – отвечаю. –
Взгляни на небо: это камни склепа!
Там нет пространства бесконечного, лишь камень,
и узкие прорублены в нем окна.
На острове моем сплошная темень
царит весь век, здесь солнца не бывает!
– Неправда, – отвечает мне покойник, –
я был здесь вечером, закат тревожный видел,
он обаграл иконостас сияньем,
когда я пред иконами молился
за упокой своей души мятежной,
которую теперь ты вновь смущаешь
распросами нелепыми и шумом,
с которым ты кидаешь наземь прахи.
Ты думаешь, они теперь не стонут,
взывая к Небесам, к Престолу Бога,
чтоб покарал того, кто попирает
тела людские, что усопли с миром?!
– Пойми же, мумия с лицом ужасным,
здесь нет небес, и Бог тебя не слышит.
Бог там, в том мире омывает склепы
своим теплом, лучами, ароматом,
но склепы те, увы, закрыты глухо;
и то, что солнцем ты назвать изволишь,
то лишь холодный луч, что проникает
в одну из щелей, что зовется зреньем!
И в подтверждение речей туманных,
беру я мумию в свои объятия
и выношу из этой утлой церкви
в дремучий лес. Уж утро озаряет
дерев вершины. Поднимай же веки!
Ты видишь там, сквозь просвет небосвода

(как ты его зовешь), сияет лучик?
Смотри, он падает на ту поляну!
...И я несу спелёнатое тело
сквозь ветви и кустарник продираясь,
и выношу на свет... Поднялись веки,
и очи озарились жизнью.

Я до утра носил немые прахи
сквозь темный лес, по одному, к поляне.
И свет, проникнув в неживые очи,
их озарял. И вскоре вся поляна
была усеяна недвижимыми телами.
А лики этих тел всё озарялись
оттенками различными сознанья.
Здесь кто-то гневался, а кто-то и смеялся,
а кто-то плакал, причитал, молился;
и вслед за лицами ожить спешили
тела. И с треском сбрасывая саван,
они вставали и на свет спешили
дыры, горячей в черном свечном мраке,
которую они доселе солнцем
в неведенье невинном называли.
...То было лучшее из всех видений,
которое когда-то возникало
перед моим давно увядшим взором:
спеленатые мумии вставали
и, сбросив саваны свои на землю,
в крылатых ангелов в мгновенье ока
вдруг превращались. По дорожке света
они вверх, к звезде той уходили,
теряясь в озарявшем их пространстве.

И чувства покидали мою душу:
ушел и гнев, и радость, и сознанье
бессмысленности бытия во склепе темном.
Ушел покой, ушло и беспокойство.
И пустота немая воцарилась
на острове. И пять лучей вселенских
слились в одну широкую дорогу,
и та к моим ногам упала,
и ноги сами на нее ступили.

Дорога вывела меня на волю
из склепа темного. Свою тюрьму оставив,
я чувствовал себя младенцем,

который только что на свет явился.
(Коль вовсе можно помнить то событие.)
Здесь чувства все, пригодные донине,
пришлось оставить: я не мог ни видеть,
ни обонять, ни осязать, ни слушать,
не мог вкушать; и в то же время, чувства
не умерли — они, оставив
сознания склеп, как будто бы забыли
про то, какая доля в этом мире
кому отведена. Они смешались,
запев на все лады нестройным хором.
И предо мной предстал не мир, но хаос.
О, как он строен был, тот Хаос Вечный!

...Я видел, как под сводами оливо
красавица играла на ситаре
малиновым и тёмно-красным звуком —
глубоким, как бездонные провалы.
И звуки волнами плескались тут же,
у ног ее, играя складкой платья -
немого, словно бездна океана.
Я слышал, как Зефир провел ладонью
по бархату изысканных мелодий;
как он сложил из тех мелодий парус,
и парус полетел по глади моря,
душистых чаек стаю обгоняя,
и улетел в тенистые просторы,
касаясь пальцами упругих струн заката.
И колыбель заката закачалась,
свисая на тончайших звездных нитях.
И звёзды понесли ее над морем
в далекий край, где люди закрывали
глаза, заслышав пенье неземное.
По нитям звездным я поднялся к небу...
А знаете вы, что такое звёзды? —
В прозрачной сфере голубой сияет нота,
чистейшею покрытая эмалью,
которая мерцает перламутром
и пахнет пряным запахом паденья!
И я упал, доверившись пространству
и, натянувшись, как струя в полете,
почувствовал смычка прикосновенье —
шершавое и серо-голубое.
И в тело мне воплёлся звук мелодий.
Их было три — нежнее акварели,
таящей сон и тающей пред взором,
со мною пела музыка Прощанья;
к ней шла ее сестра, шурша подолом.
И этот серебристый легкий шорох

пел музыку Услады при прощанье,
которая зовется Умиленьем.
И вздохами тяжелыми сознанья,
что мир не вечен, царственно шагала
мелодия, зовущаяся Горем.
Она была слепа: не разбирая
тропы средь паутины звездных кружев,
и наугад свой простирая голос,
сестра всех муз, царица всех мелодий,
Прощанье с Умиленьем подчиняла
себе, как Время подчиняет немо
мятущуюся плоть своим законам.
И вот, когда достигла апогея
музыка, угнетая мои чувства,
в мой жаркий мозг струёй ворвался воздух
холодный. Я открыл глаза, очнувшись
от дивных грёз. Моё гудело тело,
как будто бы струна в последнем звуке.
Кругом был холод, и автобус трясся.
Автобус трясся, будто притяженье
земное возросло на три с полтиной.

...Прошло три года. Я вернулся вскоре
из той дежурной серенькой поездки.
Меня на станцию привез автобус,
который трясся будто притяженье
земное возросло на три с полтиной.
Потом купе и душные вагоны.
Потом метро и серая больница.
А там лежал не я – лежала память
о неземном прекрасном дивном мире.
И врач, весь белый, словно чистый ангел,
во мне убить пытался эту память.

...И утром я встаю с своей постели
и ставлю чайник на огонь. Я счастлив.
В двенадцать тридцать мы идем с собакой
гулять по парку. Ветер. Скоро осень
предаст свою листву поземке,
как люди предают сожженью тело
усопшего... Прошло три года.
Со мною память. Это ли не счастье?!!

Оренбург, Саратов, Пенза.

ДИВНЫЙ МИР

Ошибок не считай в сем письме.
Величью формы нет, увы, предела.
Достойно дело — зреть огонь во тьме,
Стихи тачать, поверь, не наше дело.
Не то, прельщенный блеском строгих рифм,
Открою лавку, их займусь продажей
И позабуду копоть, свечный дым
И вкус, точней, безвкусье черной сажи.
Богатым стану и умру седым.
Что этим всем тебе хотел сказать я? —
Ты не смотри, какое на мне платье,
Уж слава богу, я не голый, а за сим
Давай же стих с тобой провозгласим.

...Когда так скромно начинают, то в душе
Рождается невольная примета:
Быть может, мысль моя, затерянная где-то,
В смущении наткнется на строку,
Написанную Вечными перстами,
И крылья вдохновения, сквозь пламя,
Меня в небес высоты увлекут.
И собственными я прочту глазами
Сияющие строки. В мире нет
Прекраснее и интересней книги.
И с этих пор, отбросив дней вериги,
Я буду видеть лишь нездешний свет.
Мечтать и грезить и искать ответ.
И вот тогда скажу, что я — Поэт.

И наконец, когда глаза устанут,
Я с мягких и покойных кресел встану,
Ступлю на Млечный путь и к Небесам
Приблизусь, и навек исчезну сам.
Там, где допрежь моя душа умолкла.
О, как порой хотелось мне негромко
Захлопнуть дверь и согнуться навсегда
Из-под небес, где редкая звезда
Падет порой за кромку небосвода;
И где, увы, бессильная Природа
Напрасно тщится воплотить на свет
Своим законам девственным ответ.

Здесь воздух душен. Здесь, как в страшных снах,
В теснине быта увязают ноги
Здесь ритм иной. Здесь, думая о Боге,
Уже, мой друг, гретишь, — увы и ах!

Безвременья провал страшнее смерти.
Здесь всё мертво – на этой черной тверди.
Здесь старцев нет, одни лишь старики,
Которым не дадите вы руки,
Когда они бредут вдоль стен бетонных
Колосса, что зовется "Третий Рим".
Увы, как ни смеялись мы над ним,
Колосс стоит, и хоть близко паденье,
Оно его величию не чета:
Сметая дали, веси, города,
Он поразит еще воображенье
Своею гибелью великой. Но всегда ль
Величие – достоинство размера?

Когда б не Бог и не святая вера,
Размерами своими Пантеон
Не вызвал бы благоговейный стон,
Не покори́л бы чернь, легионера
И Александра с блещущим челом.
Вместилище богов и власти тленной!
Но ведь и средь твоих священных плит
Там, где бессмертной славы след разлит,
Струится пыль?! – Таков закон Вселенной:
Природу пробуждая ото сна,
Не соловей поет, поет Весна;
Не человек забыл о жизни брэнной,
А жизнь ему бессмертная дана.

Бессмертье Жизни и души бессмертье.
И эта остановка на пути,
Что длится вдвое меньше, чем столетье...
О, как нам равновесие найти
За столь короткий срок? – пространство, время,
Иным законам здесь подчинено.
Но тело прочь, и жаркое вино
Забвения снимает это бремя
С оживших душ, и мы летим туда,
Где Сон и Вечность – наши господа.
Где всё покрыто занавесом тайны,
И вместе с тем так ясно; где легко
Подняться ветром к стае облаков
И улететь в те страны, что печальны
И временем от нас удалены...
Незримым дуновением весны
Их оживить, и вновь промчатся мимо...

Как южный ветер, пролетим над Римом
И, мимо обойдя священный холм,
Исчезнем прочь, певцам и пилигримам

Внушать бесхитростные строки о былом -
О тучке, что, плывя над морем тёмным,
Нам навевает легкую тоску,
О парусе и о красоте томной,
Готовой вечно ждать на берегу
Властителя ее души и взора...
Но полно те, я до такого вздора
Дошёл, начавши речь с величья стен!

А, может быть, и в этом есть разгадка?..
Когда красотка та свой взор украдкой
Бросает всякий миг за облака,
Когда немеет речь, бледна щека,
И паруса всё нет за кромкой моря –
Чем полнится тогда ее душа,
Томящаяся от любви и горя? –
Куда она стремится, чуть дыша;
Куда спешат, в пыли ступая, ноги? -
Не в тот ли храм, где, думая о Боге,
Она прольет на вечный камень слёзы,
Она покой священный обретет,
И мысль ее, душистой ветра розой,
Средь алтарей и статуй прорастет
И, обогнув два раза Пантеон,
Умчится прочь к заветной милой цели,
Чтоб полнить ветром парус, и от мели
Спасать затерянный в пучине галеон...

...Долой мечтанья! Бледными руками
Невольню отгоняю сладкий сон.
Сон улетает, шелестя крылами,
В ночную тьму... разверстая, пред нами
Ложится бездна и, ступив в нее,
Мы снова возвращаемся на круги
Своя. И наши нежные подруги –
Беспечность, Леность, обнажив оскал,
Нам льют вино забвения в бокал.
Вы, сильные душою, не взалкали;
А я, от сна отпрянувши, взалкал.

И подивился мирному теченью
Событий, дней... Вот так лукавый бес
Земному потакая увлеченью,
Пред нами разверзает даль небес
И райские цветные водопады.
И мы парим, не ведая услады,
И не познавши истинных чудес.

Девица, украшающая персты

Сиянием божественным камней,
Когда, влюбленные в себя, глаза открыты,
Когда томится зеркало пред ней,
Она гораздо ближе в этот миг
К сиянию божественного лика,
Чем тот монах, что под вечер проник
В пустынный сад, где прячет базилика
Среди колонн листы немые книг!
...И мне порой явленье красоты
Томило душу дивною усладой,
Когда среди свечей сидела ты
Пред зеркалом... Но за блистаньем злата
Не твой я милый образ узнавал,
А блеск огней, обрушившийся шквалом,
В само звучанье слова – Карнавал
На Ponte Vecchio, — над его провалом.

...И видел я нарядную толпу
На площади Святых, где даже стража
Приплясывает в такт, где башни даже
Не могут устоять в граните стен
И, освещенные багряными кострами,
Несутся в пляс, и жарко пляшет пламя,
И пляшут души в толчее камен...
...Везде сияет облик неземной
Предчувствием божественного рая.
Но что мы видим вон за той стеной,
Где тускло светит факел, догорая,
Где темень не приемлет суету,
Где еле слышны крики "Viva Roma! "
О! Здесь девица, что вдали от дома
Попалась на блестящую уду
Ночного кавалера. Это значит,
Что и она запляшет под дуду
И вскоре в утлом домике заплачет
Дитя свободной и слепой любви...

Но прочь из этих темных переулков:
Ведь здесь, бродя средь сводов этих гулких,
Того гляди, замажешься в крови.
А, может, не дай бог, твоя прольется.
Здесь каждый камень только рассмеется,
Когда ты упадешь с ножом в груди...
Но, посмотрите, что там впереди? –
Мелькнули разноцветные наряды,
И волнами веселья и прохлады
Затоплен промежуток меж домов.
И лютни, в тесноте биясь о стены,
К музыке добавляют шум громов,

Внушая ужас слугам Мельпомены.

Меж тем, курчавый франт, залив подол
Вином своей возлюбленной богине,
Поет ей о любви, и сердце стынет
От этих воплей. Шёлковый камзол
Терзается вздымающимся брюхом,
И рвется ткань, и еле терпит ухо
Фальшивый звук, и вертится земля...
Но хор поддерживает сорванное "ля".
Как видно, в том и заключает пенье
Свой тайный смысл, что, забыв грехи
И ужасы вчерашнего томленья,
Мы друг от друга также далеки,
Как и близки друг другу. Это свойство
Внушает нам уверенность в себе,
И, вместе с тем, немое беспокойство.
И надо обладать нездешней силой,
Чтоб песенку свою пропеть в толпе,
И, уж подавно, чтобы петь для милой.

Но всё же отстранимся от толпы,
Встав к ней спиной, подобно Арлекину,
Что маскам всем показывает спину,
Лишь с публикою говоря, увы.
Веселый маскарад промчался мимо,
Как будто нас и нет, по мостовой,
И скрылся с глаз в ночной клоаке Рима...
А я, мотнувши сонной головой,
Готов уж был в который раз проснуться.
О, бог Морфей, лишь стоит окунуться
В твой длинный и порой бессвязный сон,
Как бьют часы, и вмиг закончен он.

Но, подождите! Бьют часы на башне
Двенадцать раз, и первая звезда
Как семя, проросла в небесной пашне
Златым ростком. Так, поспешим туда,
Куда со всех окрестных тёмных улиц
Сбежались богачи и бедняки,
Где пальцы ловкие срезают кошельки,
С боков; где каменные статуи проснулись
По мановению невидимой руки...
Здесь можно ощутить Толпы дыханье
Единое, как будто мирозданье
Вселило душу в этот гулкий рой.
И короли великие порой
На миг теряли самообладанье
Пред тою бездной, что зовут толпой.

...Но нынче этот зверь не жаждал крови.
Тиран был мертв, и Рок не хмурил брови.
И облетело золото побед,
Оставив в памяти едва заметный след,
И взору подарив камней громады,
Обилье лестниц, арок колоннады,
Которыми гордится лишь поэт,
Бросая в пыль веков венки сонетов.
И среди чудес, поэтами воспетых,
Собор Петра – достойнейший предмет!

...Мы здесь, перед колоннами Бернини,
Которые, скользя, плывут во мрак,
Как будто няньки — те, что впопыхах
Излюбленное чадо упустили.
А чадо тут — любитесь водой
Прохладного и зыбкого фонтана...
О, мертвенная прелесть Ватикана!
С какою это связано нуждой
Терпеть на площади немого истукана!
...Вслед линии прямой подъемлем взор:
В ночном пространстве купол с пирамидой.
Он неприемлем здесь и неожидан,
Как выстрел неожиданный в упор.
...И в темном небе выпренно парят
Фигуры те, что выстроились в ряд.

Но вот и совершается то чудо —
Встречаются толпа и Левьяфан,
Чей зев разъят; мерцают света груды,
И как в жару, терзается орган.
И как в жару, Левиафан вздыхает.
Сквозь свой беззубый зев он пропускает
На мозаику золоченый шквал.
Чугунный ангел с высоты слетает,
И в рог трубит нам. И звучит хорал.
Вновь проступают горести земные,
Все давние мечтания и сны:
Старуха видит царствие Весны,
Глаза таращат в темноту слепые,
Глухие «слышу голос» восклицают,
И мальчик наземь костыли бросает,
И с гулким стуком падают они,
Чтоб снова быть поднятыми... как ни
Молись, увы, среди музыки без сна,
Но божью нить не пресечет струна!

Да полноте об этом! Мерзкий счет

Сведем потом мы с Пользою скабресной.
Уж если кто и будет, будет черт,
Кто нас заставит думать о полезном.
Есть лишь Любовь и черный ангел Тьмы,
Который, впрочем, выходец из рая,
Что пользы в том, что сосчитаем мы
Добро и зло? – Валюта там иная,
Куда навек нам суждено пристать.
И смертный грех в том мире может стать
Невинным пустяком, а служба богу
Сочтется за служенье сатане.
Увы, не различить ни вам, ни мне
В тот странный мир печальную дорогу.
У ней нет направленья, нет примет...
Есть лишь любовь. И в этом весь ответ.

Как мысли скачут! Вроде бы пора
Вернуться на овальную ту площадь,
Где царственно парит собор Петра,
Вплетясь в Бернинских свай поспешный росчерк;
Где даже Карнавал притих на миг,
Где музыка дала на миг забвенье
Всем душам. Где поёт седой старик
И юноша; и их святое пенье
Вливается в огромный вечный Хор
Всех страждущих и мучимых грехами...
О, Муза! Вот Твой строгий приговор:
Тот, кто поет, несет Твоё лишь знамя.
И все герои пыльной старины
Пред миром были в пенья час равны.

...Бывали вы когда-нибудь во храме
Во время службы? – тонкий голос тот
Старухи, что едва стоя, поёт,
Беря свой светлый глас невесть откуда,
И есть то самое благое чудо,
Которого так требовал Ирод.
И я, в слезах вкушая голос милый,
Всё думал: Господи, откуда силы
То тело дряблое для пения берет?!!
...Но глас иной меня порой зовет...

Когда Морфей взлетал на крыльях ночи,
Я вслушивался в шелест их. Тот час
Мне виделось, как незнакомый Глас
Глубокой тайны истину пророчит.
И я, плутая в серых дебрях сна,
Упрямо повторял чужие фразы:
Афина-Дева, вечная Весна!

О, синь небес, незримая для глаза!
И раздвигался сумрачный Сезам,
И дивный луч срывал завесу тайны.
Я видел берег моря, небеса,
И город, – я не знал его названья.
Но он был мой. И я был часть его.
Во мне цвела его святая сила!
Афина-Дева... Больше ничего...
Мне это имя живо воскресило
Бескрайний в памяти моей пробел.
Я будто путник, что, томясь в пустыне,
Вдруг на оазис девственный набрел.
И понял я, что Истина доныне
Скрывалась здесь. И здесь был мой удел.

Я часто посещал немые страны,
С тех пор гонимый страстною мечтой.
Я видел гор печальных караваны
И берег моря в кромке золотой.
И я, дрейфуя средь небесной лени,
Подолгу ждал, когда девятый вал,
Полдневные упрятав в воду тени,
Обрушит в хладный призрачный провал
Мой жаркий мозг. И вместе с парусами
Намокшими и сорванными с рей,
Как Моисей, я погружался в дали
Разверстых на мгновение морей.
И там, где глыбы зелени и пены
Сомкнуты, как громады черных туч,
Я видел города, чьи рвы и стены
Не помнят, что такое солнца луч.

Я слышал стоны гибнущей Помпеи,
Бесшумно пролетая над горой,
Где огненным клубком свивались змеи
И вниз ползли, пугая белый рой
Прелестных Ангелов, что с дрогнувших порталов,
Взмахнув крылами, улетали прочь.
...Их поглотили огненные шквалы,
Иль унесла с собой в пространство ночь –
Никто не знает этого поныне.
И лишь однажды сумрак мне явил
Видение: в межоблачной теснине
Крылатый Ангел каменный парил.

...И там, где глаз теряет вмиг опору,
Где воздух бел, и где бела вода,
Я видел, как с небес свисают шторы
Из снега, света и кусочков льда.

Отсюда начинается смятение,
И здесь рождается земли разбег.
И кажется, законом тяготенья
Здесь всякий сущий вовсе пренебрег.
Тут в свисте ветра слышен смех природы:
Дрейфуют айсберги, отъяты от земли,
И, как с пробитым днищем корабля,
Тут облака спускаются под воду,
Сиять оставив белый небосвод,
И слив его с прозрачной гладью вод.
Здесь нет тепла, но всё здесь жаром дышит;
Здесь Бог своей рукой незримой пишет
В прозрачной тверди Вечной Жизни слог...
Увы, никто его прочесть не смог!
Лишь где-то в небе пролетает стон:
«Te Decet Hymnus, Deus, In Sion!»

Господь, Тебя восславят во Сионе...
Звучит, как обещание зайти
Однажды в гости. Только не сегодня,
Сегодня поздно: вечер позади,
И наступает ночь. Её соседство
Не то, чтобы тревожит, но гнетёт.
И лишь фонарь, как карамель из детства,
На палочку нанизан, тихо ждёт
Тумана влажных губ. Ещё короче
Сказать: «фонарь сияет, как луна».
И в этом тоже есть разгадка Ночи,
Что в темноте двойные имена
Приобретают вещи. Лёжа в спальне,
Ты видишь сквозь разлёты штор луну,
Но тем луна становится печальней,
Чем ближе приближаешься к окну.

Один лишь шаг, и жарким лбом касаюсь
Ладони влажной, что зовут ещё стеклом.
И вот уж пустота в мой мозг всосалась
И через поры просочилась в дом.
И, распахнувши веер, как Лукойе,
Затмила серой пылью ночи тьму...
«Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer», –
Сказал Франсиско Гойя. Не пойму...
Вы помните, девицы на балконе?
В чем тайна там? – лишь тени на стене!
«Господь, Тебя восславят во Сионе!» –
Звучит, как бред больного в полусне.

Я каюсь, я не видел в небосводе
Слов никаких: я видел только нить.

Старик сказал: «Всё объяснить в природе
Возможно». И ещё: «К святым приходят
Лишь босиком. Чтоб ноги в кровь разбить».
Как мне не хочется вам рисовать дорогу,
Где каждый странник – тот, кого люблю;
Слова: «Поели, ну, и, слава богу!
Мать Ольга, подойди, благословлю!»
Я этой благодати дедовской не терплю,
Но всё же привыкаю понемногу
К святой земле, где всё старо и мило,
Где мысль умолкла в сером далеке,
Где будто время пролетело мимо,
Послав забвенью нивам и реке,
Где баба всё бельё свое неволит,
И нет ему конца; где, как во сне,
Крестьяне вечно переходят поле,
Гадая о посевах и весне...
Старуха топит печь, и дети, в шалость,
Загнали кошку на конёк избы;
Рождается дитя, уходит старость,
И в ямы опускаются гробы.

Всё это так, лишь Время, путник строгий,
Промчавшись вдаль, сквозь Вечности окно,
Заметил, как в кювете у дороги
Малыш из вешних трав плетет венок.
И улыбнулся миру в кои веки,
А в это время, там, в глухой избе,
У матери вдруг задрожали веки,
А мальчик улыбнулся сам себе.
И появился Ангел средь Небес:
«Господь, Тебя восславят!..» И исчез.

Исчезну же и я, но ненадолго.
Раз уж проснулся, то вставать должно.
Не из желанья, не из чувства долга,
Не знаю сам, — уж так заведено.
Вот хорошо тем, кто в семейной неге
Проводит свои радостные дни.
Раскроешь глаз – уж на тебя набегит:
Жена и дети, с пищею телеги,
И тесть и тёща, бог их всех храни!
И от таких забот без дна и края,
Невольно вновь захлопнешь правый глаз.
«Он спит еще, и славно, в добрый час», –
Промолвит тёща, сладко напевая,
Полдневный сон мелодией храня,
И закрывая шторами свет дня.

Но, боже мой, уж ты храни меня
От счастья такой семейной жизни.
Семья и Муза – словно смех на тризне.
Так выбирай же – Муза, иль Семья!
Конечно ж, это шутка: в мире праздном
Найдутся всем и Долг и Божество,
Лишь так, живя природе сообразно,
Мы все достигнем Царствия Того,
Кто нас в сей грешный мир, смеясь, направил.
И там уж мы узнаем, что по чём:
Кто верно своей лодкой бедной правил,
А кто на дно пустил богатый чёлн.

Вот, несмотря на кучу всяких дел,
Я описал вам всё вполне обильно,
И точно так, как сам того хотел.
А если Муза бедная бессильна
Пред чувствами моими, то она
Сама, как видно, млеет в неге сна.

...Что ж, бог Морфей! Я спел Тебе хвалу
В сих листах, упрятанных надёжно.
О, царство грёз! Когда б было возможно
Мне доказать, что Мир реален твой,
Я б выменял холодную иглу
На все иные подаянья мира.
Я б окунул свой мозг полуживой
В струю прохладного звенящего эфира,
Сводящего с ума который век
Скитальцев, узников, властителей и нищих.
Как не велик, иль жалок человек,
Мир Грёз сравнивает всех: в нём всяк отыщет
Себе достойный благостный удел,
И кто мечтал о рабстве иль свободе,
Возьмет всё, чего он так хотел,
И улыбнется царственной Природе,
Её насмешкой гордой развенчав.
Вот так и я — забыв о непогоде,
Укрылся там, где властвует свеча,
Рисуя тени на призрачных стенах,
И рассказал о странствиях своих
В тот Дивный Новый Мир, и о Каменах,
Сопровождавших мой пространный стих.

Париж.